

LETTERA.ORG

Ойген Руге

ДНИ
убывающего света



ЛОГОС
МОСКВА 2017

{Информационная публикация глав I-II перевода}

{Информационная публикация глав I-II перевода}

Ойген Руге. Дни убывающего света

М.: Издательство «Логос», проект lettera.org, 2017. – 376 стр.

Перевод с немецкого – Елена Штерн

Редакция перевода – С. Городецкий и О. Никифоров

Дебютный роман немецкого писателя Ойгена Руге «Дни уходящего света», сразу же по его публикации отмеченный престижной Немецкой книжной премией (2011) – это «прощание с утопией» (коммунистической, ГДР, большой Истории), выстроенное как пост-современная семейная сага. Частные истории, рассказываемые от первого лица представителями четырех поколений восточнонемецкой семьи, искусно связываются в многоголосое, акцентуруемое то как трагическое, то как комическое и нелепое, но всегда остающееся личным представление пяти десятилетий истории ГДР как истории истощения утопических проектов (коммунизма и реального социализма), схождения на нет самой Истории как утопии.

Печатается по изданию: Eugen Ruge. In Zeiten des abnehmenden Lichts. Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg

*Перевод настоящего издания выполнен
при поддержке Гёте-Института*



ISBN 978-9934-8559-4-8

ISBN 978-5-8163-0088-9 (серия lettera.org)

© Перевод, редакция, настоящее издание – переводчик, редакторы,
издательство «Логос», проект lettera.org (Москва), 2017.

[глава I]	2001	...7
[глава II]	1952	...29
[глава III]	1 октября 1989	...47
[глава IV]	1959	...65
[глава V]	2001	...83
[глава VI]	1961	...99
[глава VII]	1 октября 1989	...121
[глава VIII]	1966	...139
[глава IX]	1 октября 1989	...161
[глава X]	1973	...181
[глава XI]	2001	...199
[глава XII]	1976	...211
[глава XIII]	1 октября 1989	...235
[глава XIV]	1979	...253
[глава XV]	2001	...267
[глава XVI]	1 октября 1989	...281
[глава XVII]	1991	...305
[глава XVIII]	1995	...323
[глава XIX]	1 октября 1989	...339
[глава XX]	2001	...355
[Действующие персонажи:]		...371
[Примечания переводчика:]		...373

2001

для всех вас

Два дня еле живым он пролежал на своем дорогом кожаном диване. Потом встал, хорошенько помылся в душе, смывая с себя остатки больничного воздуха, и отправился в Нойендорф.

Ехал по А115, как обычно. Смотрел на мир через окно. Проверял, не изменился ли тот. И как – изменился?

Машины показались ему чище. Чище? Как-то пестрее. Тупее.

Небо осталось голубым, каким же еще.

Подкралась осень, коварно. Пометила желтыми штришками деревья. Наступил сентябрь. И если его выпустили в субботу, то сегодня должен быть вторник. В датах он последнее время не ориентировался.

С недавних пор у Нойендорфа появился свой съезд с автобана – «с недавних пор» значило для Александра, всё еще – после объединения. Ты сразу попадал на Тельманштрассе (всё еще так называлась). Улица была ровно заасфальтирована, красные полосы велосипедных дорожек по обеим сторонам. Свежеотремонтированные дома, утепленные по каким-то там евростандартам. Новостройки, смахивающие на крытые бассейны – их называли городскими вилами.

Но нужно всего лишь один раз свернуть налево, пройти несколько метров по изогнутой Штайнвег, потом еще раз налево и – казалось, что время здесь остановилось: узкая улочка с липами. Тротуары, мощеные булыжником, вывороченные корни деревьев. Ветхие заборы и красные клопы-солдатики. Глубоко в садах, за высокой травой, мертвые окна вилл – о передаче прав собственности на них прежним хозяевам спорили в далеких адвокатских конторах.

Один из немногих домов здесь, в которых еще жили – Фуксбау 7. Мох на крыше. Щели на фасаде. Заросли бузины уже добрались до веранды. И яблоня, которую Курт подрезал всегда собственноручно, тянулась к небу ветками во все стороны как придется, бесформенным клубком ветвей.

«Еда на колесах», упакованная по нормам ISO, уже стояла на столбике ограды. Вторник, прочитал он подтверждение на пакете. Александр захватил пакет и вошел во двор.

Хотя у него был ключ, он позвонил. Проверять, открывает ли Курт – бессмысленно. Он и без того знал, что Курт не откроет. Но вдруг услышал знакомый скрип двери в коридоре, и когда заглянул через окошечко, из сумерек прихожей – как привидение – появился Курт.

– Открывай, – крикнул Александр.

Курт подошел ближе, пялился.

– Открывай!

Но Курт не двинулся.

Александр открыл замок, обнял отца, хотя объятия были ему уже давно неприятны. От Курта пахло. Это был запах старости. Он глубоко въелся в клетки. Так же от Курта пахло мытым телом и чищенными зубами.

– Ты меня узнаешь? – спросил Александр.

– Да, – ответил Курт.

Его рот был измазан сливовым муссом, утренняя сиделка снова торопилась. Вязаная кофта криво застегнута и тапок только один.

Александр разогрел обед Курта. Микроволновка, безопасный режим. Курт заинтересованно стоял рядом.

– Ты голоден, – спросил Александр.

– Да, – ответил Курт.

– Ты всегда голоден.

– Да, – ответил Курт.

В упаковке был гуляш с краснокочанной капустой (с тех пор, как Курт однажды чуть не подавился куском говядины, заказывали только мелко порезанную еду).

Александр сварил себе кофе. Вытащил из микроволновки гуляш и поставил его на клеенчатую скатерть.

– Приятного аппетита, – сказал он.

– Да, – сказал Курт.

Начал есть. Какое-то время было слышно только сосредоточенное сопение Курта. Александр прихлебывал свой пока еще слишком горячий кофе. Смотрел, как ест Курт.

– Ты вилку неправильно держишь, – сказал он какое-то время спустя.

Курт на мгновение замер, казалось, он размышляет. Но затем продолжил есть – попытался подвинуть кусочек гуляша рукояткой вилки к кончику ножа.

– Ты вилку неправильно держишь, – повторил Александр.

Он говорил без выражения, без наставительной интонации, чтобы проверить воздействие чистых понятий на Курта. Никакого воздействия. Ноль. Что творилось в этой голове? В этом пространстве, всё еще отделенном от мира черепной коробкой, всё еще содержащем в себе своего рода «я». Что чувствовал, о чем думал Курт, когда семеня по своей комнате? Когда он сидел до обеда за своим письменным столом и, как рассказывали сиделки, часами таращился в газету. О чем он думал? Думал ли он вообще? Как думают без слов?

Курт наконец-то водрузил кусочек мяса на кончик ножа и нес его, удерживая равновесие, дрожа от жадности, ко рту. Тот сорвался. Вторая попытка.

Вообще-то, смешно, думал Александр, что распад Курта начался именно с языка. Курт, оратор. Великий рассказчик. Как он в нем сидел, в своем знаменитом кресле – кресле Курта! Как все не сводили с него глаз, когда он рассказывал свои историйки, герр профессор. Свои анекдоты. Но опять же странно – в устах Курта всё превращалось в анекдот. Неважно, о чем Курт рассказывал – даже если он рассказывал, как чуть не сдох в лагере – всегда находилась изюминка, всегда было смешно.

Было. Давнее-предавнее прошлое. Последнее предложение, которое Курт смог сказать связно, было: «Я потерял язык». Тоже неплохо. Сравнивая с его сегодняшним репертуаром, просто блестяще. Только это было два года назад: «Я потерял язык». А люди и правда думали, смотри-ка, язык потерял, а так... А так он казался более-менее в себе. Улыбался, кивал. Принимал разные выражения лица, подходящие. Разыгрывал из себя умника. Только время от времени с ним случались странности – красное вино наливал в кофейную чашку. Или вдруг беспомощно замирал с пробкой в руке и, в конце концов, прятал ее в книжный стеллаж.

Так себе результат – пока Курт справился только с одним кусочком гуляша. Теперь навалился, ел пальцами. Исподлобья смотрел на Александра, как ребенок, который проверяет реакцию родителей. Запихал кусок в рот. И еще один. И начал жевать.

И жуя, держал свои перепачканные пальцы высоко, как будто давал присягу.

– Если б ты только знал, – вздохнул Александр.

Курт не отреагировал. Он наконец-то разработал метод решения гуляшной проблемы. Набивал, жевал. Соус стекал тонкой струйкой по подбородку.

Курт больше ничего не мог. Не мог говорить, не мог чистить зубы. Даже подтереть задницу не мог, уже хорошо, если срать садился на унитаз. Единственное, думал Александр, что Курт еще мог, что делал по собственной инициативе, чем интересовался и на что тратил остатки хитрости, была еда. Прием пищи. Курт ел не с наслаждением. Курт ел не потому, что ему вкусно (его вкусовые рецепторы, Александр не сомневался, были совершенно уничтожены десятилетиями курения). Курт ел, чтобы жить. Еда = жизнь, эту формулу, думал Александр, он заучил в лагере, и причем весьма основательно. Раз и навсегда. Жадность, с которой Курт ел, с которой он набивал в рот кусочки гуляша, была не чем иным, как волей к жизни. Это последнее, что осталось от Курта,

что держало его в жизни и позволяло этому телу функционировать дальше, этому вышедшему из строя автомату с сердечно-сосудистой системой, которая сама себя поддерживала, и – пожалуй, как стоило опасаться – какое-то время еще будет поддерживать. Курт пережил всех. Он пережил Ирину. А теперь у него был реальный шанс пережить и его, Александра.

На подбородке Курта повисла жирная капля соуса. Александра охватило страшное желание причинить отцу боль – оторвать кусок бумажного полотенца и грубо вытереть соус с его лица.

Капля, подражав, сорвалась.

Это было вчера? Или сегодня? В один из этих двух дней, что он пролежал на своем дорогом диване (неподвижно и почему-то всё время стараясь не касаться открытой кожей обивки), в один из дней его посетила мысль убить Курта. И даже больше, чем просто мысль. Он проигрывал варианты: задушить Курта подушкой, или – безупречное убийство – приготовить Курту жесткий говяжий стейк. Как тот стейк, которым тот однажды чуть не подавился. Если б тогда Александр не повернул его – уже посиневшего, выбравшегося на улицу и потерявшего сознание – если б тогда Александр не повернул его инстинктивно на бок, и если бы вследствие этого, из глотки Курта не выкатился вместе с его челюстью мясной комок, скатавшийся чуть ли не в шарик от бесконечного пережёвывания, то Курта, пожалуй, уже не было бы в живых, и Александр избежал бы этого поражения (по меньшей мере, этого).

– Ты заметил, что меня не было здесь какое-то время?

Курт был занят краснокочанной капустой – с недавних пор у него появилась эта детская привычка подчищать одну ячейку за другой: сначала мясо, потом овощи, потом картошку. Удивительно, но вилку он снова держал в руке – и даже правильной стороной. Подскребал капусту.

Александр повторил свой вопрос:

– Ты заметил, что меня не было здесь какое-то время?

– Да, – сказал Курт.

– Значит, заметил. А как долго – две недели, два года?

– Да, – сказал Курт.

Или он сказал: «года»?

– Значит два года, – продолжал Александр.

– Да, – сказал Курт.

Александр засмеялся. Ему и правда казалось, что это длилось года два. Как другая жизнь – после того, как прежняя жизнь закончилась на одном единственном, банальном предложении:

– Отправлю-ка я вас на Фрёбельштрассе.

Такое вот предложение.

– Фрёбельштрассе?

– Клиника.

Только на улице он додумался спросить у сестры, не означает ли это, что ему надо захватить пижаму и зубную щетку. И сестра пошла еще раз в кабинет врача и спросила, не означает ли это, что пациенту нужно захватить пижаму и зубную щетку. И врач ответил, что пациенту надо захватить пижаму и зубную щетку. Вот и всё.

Четыре недели. Двадцать семь врачей (он подсчитал). Современная медицина.

Врач-ассистент, похожий на старшекласника и – в странном приемном покое, где за перегородкой стонали какие-то тяжелобольные – объяснивший ему основные принципы диагностики. Врач с волосами, собранными в хвостик, сказавший: у марафонцев не бывает опасных заболеваний (очень симпатичный мужчина). Радиолог, которая спросила его, не собирается ли он в своем возрасте зачинать детей. Хирург по фамилии Фляйшхауэр¹. И, конечно же, весь в оспинах «Караян» – главврач д-р Кауфманн.

И еще двадцать два других.

И, возможно, еще два десятка лаборантов, которые заполняли пробирки сцеженной из него кровью, просвечивали его мочу, рассматривали его ткани под какими-то

микроскопами или помещали в центрифуги. И всё это с жалким, просто-таки бессовестным итогом, который д-р Кауфманн подвел одним словом:

– Неоперабельно.

Сказал д-р Кауфманн. Своим грубым голосом. Со своими оспинами. С прической а-ля Караян. Неоперабельно, сказал он и покрутился на своем крутящемся кресле туда-сюда, а стекла в его очках поблескивали в такт движениям.

Курт как раз опустошил ячейку с краснокочанной капустой. Принялся за картошку – сухая. Александр уже знал, что за этим последует (если Курту тотчас не поставить стакан с водой). А именно – сухая картошка застрянет у Курта в горле, отчего тот начнет икать так лающе, что покажется, будто вот-вот желудок выскочит. Пожалуй, Курта можно убить и сухой картошкой.

Александр встал и налил в стакан воды.

Курт, как ни странно, был операбелен – ему тогда вырезали три четверти желудка. И он ел столько пищи оставшейся частью желудка, как если бы ему добавили три четверти. Неважно, что подавали – Курт сметал всегда дочиста. Он и раньше-то всегда подчищал тарелку, подумал Александр. Неважно, что ставила перед ним Ирина. Он всё съедал и хвалил – «отлично»! Всё время одна и та же похвала, всё время одно и то же «спасибо» и «отлично», и только годы спустя, после смерти Ирины, когда Александру как-то довелось готовить, только тогда Александр понял, насколько уничижительны, унизи- тельны должны были быть эти «спасибо» и «отлично» для матери. Курта нельзя было ни в чем упрекнуть. Он и в самом деле никогда ничего не требовал, даже от Ирины. Если никто не готовил, он шел в ресторан или съедал бутерброд. А когда кто-то для него готовил, он вежливо благодарил. Затем на очереди был послеобеденный сон. Затем прогулка. После этого он разбирал почту. Что тут возразить? Нечего. В том-то и дело.

Курт подобрал пальцами картофельные крошки.

Александр протянул ему салфетку. Курт и в самом деле вытер рот, сложил аккуратно салфетку и положил ее рядом с тарелкой.

– Отец, послушай, – начал Александр. – Я был в больнице.

Курт покачал головой. Александр взял его за локоть и повторил попытку, с большей четкостью.

– Я, – он показал на себя, – был в боль-ни-це! Понимаешь?

– Да, – ответил Курт и встал.

– Я еще не всё сказал, – произнес Александр.

Но Курт не отреагировал. Просеменил в спальню, всё еще в одном тапке, снял свои брюки. Посмотрел выжидающе на Александра.

– Вздремнешь?

– Да, – сказал Курт.

– Ну тогда давай поменяем подгузники.

Курт просеменил в ванную, Александр уже подумал, что тот всё понял, но в ванной Курт приспустил подгузники и начал ссать на пол высокой дугой.

– Что ж ты делаешь!

Курт испуганно оглянулся. Но остановиться уже не мог.

После того как Александр помыл отца под душем, отвел в кровать и вытер пол в ванной, его кофе уже остыл. Он взглянул на часы – два. Вечерняя сиделка придет не раньше семи. Он недолго поразмышлял, не взять ли из сейфа в стене те двадцать семь тысяч марок и просто исчезнуть. Но решил подождать. Он хотел сделать это на глазах у отца. Хотел объяснить ему всё, пусть это и бессмысленно. Хотел, чтобы Курт сказал на это «да», даже если «да» – единственное слово, которым он еще владел.

Александр направился со своим кофе в зал. Что теперь? Что делать с потерянным временем? Он снова сердился на то, что подчинился ритму Курта, и злость на это непроизвольно связывалась с уже ставшей автоматической злостью на комнату. Разве что после четырех

недель отсутствия она казалась ему еще ужасней: синие шторы, синие обои, всё синее. Так как синий был любимым цветом его последней возлюбленной... Идиотизм, в семьдесят восемь. Ирина еще и полгода в могиле не пролежала... Даже салфетки, свечи – синие!

Целый год оба вели себя, как гимназисты. Посылали друг другу открытки с сердечками и заворачивали подарочки друг другу в синюю бумагу, затем возлюбленная, должно быть, заметила, что Курт начал чудить, и... исчезла. После нее остался синий гроб, как окрестил это Александр. Холодный синий мир, в котором теперь совершенно никто не жил.

Только кухонный уголок не изменился. Хотя, и он не совсем... Курт правда не тронул шпоновые обои – гордость Ирины, – настоящие шпоновые обои! Даже так называемая *хламлекция* (немецкий язык Ирины) осталась, но – в каком виде! Курт в процессе ремонта снял целиком эту хаотичную коллекцию нелепейших презентиков и сувениров, которые с годами покрыли шпоновые обои, стер с них пыль, выбрал «самое важное» (ну или то, что Курт считал таковым) и снова разместил на шпоновых обоях в «свободном порядке» (ну, как Курт его понимал). Причем «из соображений целесообразности» он пытался использовать уже имеющиеся отверстия для гвоздей. Эстетика компромиссов Курта. Так всё оно и выглядело.

Где был тот кривой кинжал, который актер Гойкович, как-никак исполнитель главных ролей во всех дефовских¹² фильмах про индейцев, подарил когда-то Ирине? А где та кубинская тарелка, которую товарищи с завода имени Карла Маркса подарили Вильгельму на его девяностолетие, а Вильгельм, по рассказам, выудил свой бумажник и бросил на нее сотню – он подумал, что его просят о взносе на солидарность народов...

Плевать, подумал Александр... Это всего лишь вещи. Для того, кто придет после него, это всё равно будет просто куча строительного мусора.

Он перешел в рабочий кабинет Курта, который находился в другом (как считал Александр, более красивом) конце дома.

В отличие от гостиной, где Курт сменил всё, и... даже мебель Ирины заменил, прекрасную старинную витрину – на какую-то ужасную мебель из МДФ; даже прекрасный вечно хлипкий телефонный столик Ирины Курт убрал; и, за что Александр на него обиделся особенно, настенные часы – милые старинные часы, механизм которых каждые полчаса и час имел обыкновение урчать, в знак того, что они всё еще несут свою службу, хотя корпуса для гонга не было – ведь изначально это были напольные часы, Ирина же, следуя моде, вынула их из футляра и повесила на стену, а Александр и по сей день помнил, как они с Ириной привезли часы, и как Ирина не смогла сообщить пожилой даме, расставшейся с часами, что их футляр собственно им не нужен; как им пришлось специально просить соседа помочь снять этот футляр, и как этот огромный ящик, который они увозили только для виду, высовывался из багажника маленького «трабби», так что впереди машина почти не касалась земли... – в отличие от полностью отремонтированной гостиной в кабине Курта, всё мистическим образом оставалось по-прежнему.

Письменный стол стоял наискосок от окна – сорок лет подряд после каждого ремонта его ставили по отпечаткам в ковре на то же самое место. Как и комплект мягкой угловой мебели с креслом Курта, в котором он, сгорбившись и сложив руки на колени, рассказывал свои анекдоты. Как и большой шведский стеллаж (почему собственно шведский?) стоял где прежде. Доски прогнулись под тяжестью книг; тут и там Курт вставил дополнительные, неподходящие по цвету доски, но космический порядок – своего рода последняя опора мозгу Курта – остался неизменным: там стояли справочники, которыми успел воспользоваться и Александр (*но ставь на место!*), стояли книги по русской революции, длин-

ный ряд рыжевато-коричневого собрания сочинений Ленина, на последней полке, слева, рядом с Лениным, под папкой со строгой надписью «ЛИЧНОЕ» всё еще лежала – Александр мог бы достать ее с закрытыми глазами – раскладная потертая шахматная доска с фигурами, которые некогда вырезал какой-то безымянный заключенный ГУЛАГа.

Единственное, что – за исключением новых книг – добавилось за сорок лет – это лишь несколько вещей, привезенных из Мексики бабушкой с дедушкой. Большая часть из них была молниеносно раздарена после их смерти, и лишь немногие вещи, с которыми Курт, как ни странно, не хотел расставаться, но которым не посчастливилось попасть в хламлекцию – как утверждалось, из-за недостатка места, на деле же из-за ненависти, которую Ирина не смогла преодолеть, ко всему происшедшему из дома свекрови и свекра, – Курт «временно» прибрал на свой шведский стеллаж, и там они «временно» оставались по сей день: чучело акульего детеныша, шероховатая кожа которого произвела впечатление на маленького Александра, он подвесил на красивой ленточке на поперечину стеллажа; внушающая ужас маска ацтеков лежала лицом вверх за стеклом рядом с многочисленными бутылочками из-под водки; а большая изогнутая розовая ракушка, в которую Вильгельм – никто не знает, каким образом – встроил лампочку, лежала всё еще без проводов на одной из нижних полок.

Он снова вспомнил о Маркусе, своем сыне. Представил себе, как Маркус ходит тут, в капюшоне и с наушниками – таким он видел его последний раз, два года назад, – представил себе, как Маркус стоит перед книжным стеллажом Курта и попинывает носком сапога стеллажные полки; как берет одну за другой вещи, скапливавшиеся здесь в течение сорока лет, и оценивает их пригодность или продаваемость: вряд ли кто-то купит у него Ленина, хотя за складную шахматную доску он, возможно, и выручит пару марок. Единственное, что его

заинтересует, это, пожалуй, чучело детеныша акулы и большая розовая ракушка, и он пристроит их у себя «на хате», ничуть не задумавшись об их происхождении.

На одну секунду мелькает мысль захватить с собой ракушку, чтобы бросить ее в море – туда, откуда она пришла, но... это показалось ему сценой из дешевых сериалов, и он отбросил эту мысль.

Александр сел за письменный стол и открыл левую дверцу. В среднем ящике, в самой глубине, в коробке от фотобумаги «ORWO» уже сорок лет лежал, спрятанный под тюбиками с клеем, ключ от встроенного сейфа, и (Александра вдруг одолела дурацкая мысль, что ключ мог исчезнуть, и его планы накроются) – он по-прежнему на месте.

Он положил ключ, на всякий случай – как если бы кто-то мог его умыкнуть, – в карман. Сделал глоток кофе.

Странно, каким крошечным был стол Курта. За этим столиком Курт творил свои труды. Здесь он сидел, в неприемлемой с точки зрения медицины позе, на стуле – воплощенном отклонении от эргономики; курил свою трубку, пил свой кислый фильтрованный кофе и двумя пальцами молотил по печатной машинке, тук-тук-тук-тук, – папа работает! Семь страниц ежедневно, это была его «норма», но случалось, что за обедом он оповещал: «Сегодня двенадцать страниц!» Или: «Пятнадцать!». Таким образом он заполнил целый ряд в шведском стеллаже, метр на три с половиной, всё напичкано этим бредом: «один из продуктивнейших историков ГДР», как это называлось, и даже если вынуть статьи из журналов, в которых они вышли, и статьи из сборников и – вместе с десятью, или двенадцатью, или четырнадцатью книгами, написанными Куртом – поставить в один ряд, то все его произведения в общей сложности займут примерно столько места, что могут конкурировать с сочинениями Ленина: *метр науки*. За этот метр науки Курт пахал тридцать лет, тридцать лет изводил свою семью. За этот

метр варила и стирала Ирина. За этот метр он получал ордена и награды, но и порицания, а однажды и выговор от партии, торговался с издательствами, страдающими из-за вечного дефицита бумаги, об увеличении тиража, вел войнушки за формулировки и заголовки, вынужден был сдаваться или же хитростью и медлительностью одерживал частичные победы, и – всё, всё это теперь стало МАКУЛАТУРОЙ.

Так думал Александр. По меньшей мере этот триумф после объединения он мог списать со счетов – со всем этим, так он думал, теперь покончено. Эти якобы исследования, вся эта полуправдивая и малодушная чепуха, которую Курт понаписал тут об истории немецкого рабочего движения, всё это, так думал Александр, унесет прочь поток перемен после объединения Германии, и от так называемых трудов Курта ничего не останется.

Но тут Курт еще раз присел на свой ужасно неудобный стул, уже почти в восемьдесят, и в обстановке строжайшей секретности накропал свою последнюю книжонку. И хотя книга не получила признания во всем мире – да, двадцатью годами раньше книга, в которой немецкий коммунист описывает свои годы в ГУЛАГе, возможно, имела бы успех во всем мире (только вот Курт был тогда слишком труслив, чтобы написать ее!), но – даже если она и не стала признанной во всем мире, то, хочешь того или нет, она стала важной, уникальной книгой, «на века» – книгой, какую Александр не написал и теперь уже вряд ли напишет.

Хотел ли он этого? Не говорил ли он всё время, что чувствует тягу к театру, как раз оттого что театр – переходящее искусство? «Преходящий» – звучит хорошо. Пока у тебя нет рака.

Мошкара танцевала в солнечном свете, Курт всё еще спал, хотя утверждали, будто старики спят немного. Александр решил тоже прилечь.

Когда он уже собрался уходить из комнаты, его

взгляд упал на папку с надписью «ЛИЧНОЕ», которая всегда манила его, но открыть которую он никогда не отваживался, хотя подростком и не дрейфил забираться в эротическую фотоколлекцию отца. Пока Курт не вставил в шкаф замок.

Он вынул папку: записки, пометки. Копии документов. К тому же много писем, написанных фиолетовыми чернилами, как это было принято в России много лет назад:

«Дорогая Ира!» (1954)

Александр листал... Характерно для Курта. Даже любовные письма он аккуратно исписывал своим чеканным почерком с двух сторон, заполняя все страницы вплоть до последней и при этом с равномерными пропусками между строчек, так что строчки в конце письма не разъезжались и не теснились, не залезали на поля... Как этот тип так умудрялся? И при этом невыносимо пышные обращения, которыми он осыпал Ирину:

«Любимая, любимейшая Ирина!» (1959)

«Солнце мое, жизнь моя!» (1961)

«Возлюбленная моя жена, друг мой, спутница моя!» (1973)

Александр поставил папку на место и поднялся по лестнице в комнату Ирины. Он опустился на большой диван, обтянутый чем-то плюшево-мягким, попытался поспать. Вместо этого он снова увидел «Караяна» с оспинами, который как заведенный качался туда-сюда в своем крутящемся кресле. Стекла в его очках поблескивали, голос повторял одно и то же предложение... Хватит. Нужно подумать о чем-нибудь другом. Он принял решение, незачем больше думать, незачем размышлять.

Открыл глаза. Рассматривал мягкие игрушки Ирины, сидящие на спинке дивана, аккуратно рядом друг с другом – в той очередности, как их усадила уборщица: собака, ежик, заяц с обгорелым ухом ...

А что, если они ошиблись?

Абсурд, подумал он, что Ирина до последнего гово-

рила «твоя комната». *Вы будете спать наверху, в твоей комнате*, вдруг услышалось ему. При этом едва ли можно было бы представить себе комнату, которая еще больше являла бы собой идеал девочки, пусть и поздно воплощенный, – розовые стены, зеркало в стиле рококо, поврежденное, но настоящее. У окна стоял покрашенный в белое секретер, за которым Ирина любила фотографироваться в задумчивой позе. И хрупкий стульчик – «предположительно тоже в стиле рококо» – позировал так грациозно, что желания присесть на него не возникало.

И правда, как только он попытался представить тут Ирину, то сразу увидел ее сидящей на полу, во время своих одиноких оргий, слушающую скрипящие кассеты с Высоцким и постепенно напивающуюся.

А вон там телефон, еще времен ГДР, который раньше стоял внизу. Тот самый телефон, по которому своим глухим голосом она сказала эти четыре слова:

– Сашенька. Ты. Должен. Приехать.

Эти четыре слова из уст русской матери, чьей великой гордостью всю жизнь было то, что она *никогда в жизни* ни о чем не просила сына:

– Сашенька. Ты. Должен. Приехать.

И после каждого слова длинное жутковатое потрескивание, так что хотелось положить трубку, так как казалось, что связь прервалась.

А он? Что он сказал?

– Я приеду, когда ты перестанешь пить.

Он встал, подошел к окрашенному в белое секретеру, в потайных ящичках которого после смерти Ирины нашли ее запасы спиртного. Он открыл его и начал, будто заядлый алкоголик, обыскивать. Снова опустился на диван. Спиртного здесь больше не было.

Или он сказал «напиваться»? Я приеду, когда ты перестанешь напиваться?

Четырнадцать дней спустя он поехал в похоронное бюро, чтобы воскресить мать... Нет, он поехал, потому что нужно было уладить какие-то формальности. Но по-

том, уже на улице, его одолела идея-фикс, что он может разбудить мать, если просто *заговорит* с ней. И после того как дважды обошел блок, пытаясь найти отговорки не делать этого, в конце концов, он вошел в здание и потребовал показать ему мать, и не поддался уговорам профессионалов сохранить ее в памяти такой, «какой она была при жизни».

Тогда-то ему ее и выкатили. Опустилась занавеска. Он стоял рядом с небрежно прихорошенным трупом, который, надо признаться, не был не похож на его мать (за исключением слишком маленького лица и складочек гармошкой над верхней губой), он стоял рядом с ней и не осмеливался заговорить с ней в присутствии обоих сотрудников похоронного бюро, поджидавших по ту сторону занавески, так близко, что были видны ботинки у нижнего края занавески. Чтобы сделать хоть что-то, он коснулся ее руки и – выяснил, что та холодна: холодна, как кусок курицы из холодильника.

Нет, они не ошиблись. Был же рентгеновский снимок. Было МРТ. Были лабораторные анализы. Всё было ясно – «неходжкинские лимфомы, индолентный тип». От которых – какая тактичная формулировка! – «на данный момент нет эффективной терапии».

– А сколько это, в годах?

И тогда этот доктор начал целую вечность крутиться туда-сюда на своем стуле, с таким лицом, будто ответ на подобный вопрос – героический поступок, и выдал:

– Прогнозов вы от меня не услышите.

И голос его шипел, как кислородная подушка старика у Александра в палате.

Измерения времени. Двенадцать лет назад – объединение Германии. Недостижимо далекое время. Всё же он попытался почувствовать задним числом – сколько весят эти двенадцать лет?

Понятно, что двенадцать лет до объединения казались ему несравнимо более долгими чем двенадцать лет

после. 1977-й – это же вечность назад! 1989-й, напротив – рядышком, одна остановка на трамвае. Но при этом же что-то происходило, так?

Он бежал за границу и снова вернулся (даже если страна, в которую он вернулся, исчезла). Он устроился на прилично оплачиваемую работу в журнале о боевых искусствах (и уволился). Делал долги (и возвращал их). Затеял кинопроект (лучше не вспоминать).

Умерла Ирина – *шесть лет назад*.

У него было десять или двенадцать, или пятнадцать театральных постановок (во всё более незначительных театрах). Он побывал в Испании, Италии, Голландии, Америке, Швеции, Египте (но не в Мексике). Трахался с неопределенным количеством женщин (имена которых не мог вспомнить). Отважился – спустя какое-то время – на серьезные отношения....

Познакомился с Марион – *три года назад*.

Но сейчас ему не казалось, что это было недавно.

Надо не забыть ей сказать. Как-никак она была единственной, кто навещал его – хотя он строго-настрого запретил визиты. Но всё же был вынужден признать, что это было не так уж плохо. Нет, она не была, как он того опасался, преувеличенно заботливой. Не пыталась подбадривать его какими-то стандартными фразами. Не приносила ему цветы. Зато салат из помидоров. Откуда она знала, чего именно он сейчас хочет? Откуда знала, что он просто панически боялся получить в больнице цветы?

Спросим по-другому: почему он был не в состоянии любить Марион? Возраст? Она – его сверстница. Может, дело в двух-трех синих венках, просвечивающих на ее бедрах? Или дело было в нем?

«Дорогая моя, любимейшая Ирина!.. Солнце мое, жизнь моя!»

Он бы ни за что не обратился так к женщине. Было ли это старомодно? Или Курт любил Ирину? Неужели эта старая педантичная сволочь, этот робот Курт Умницер умудрился полюбить?

От этого подозрения Александра так затошнило, что ему пришлось встать.

Было почти полтретьего, когда он спустился по лестнице. Курт всё еще спал. Марион, он знал, еще в садовом хозяйстве – звонить ей слишком рано. Вместо этого он позвонил в справочную. Собственно, он хотел сразу поехать в аэропорт. Но теперь он позвонил, в справочной его сразу соединили, переключили дальше, в конце концов связали с нужным оператором и всё же он помедлил, когда выяснилось, что можно без проблем забронировать билеты на завтра. Если у него есть кредитная карта.

Есть.

– Итак, мне бронировать или нет, – осведомилась женщина по другую сторону, не невежливо, но таким тоном, который говорил, что она не собирается тут вечность возиться с этим недотепой.

– Да, – ответил он и продиктовал номер кредитной карты.

Когда он положил трубку, было 14:46. С мгновение постоял в сумерках, подождал, что на него снизойдет какое-то чувство, но... ничего не снизошло. Только мелодия вспомнилась – с древней пластинки бабушки Шарлотты, которая при переезде упала на тротуар и разлетелась на тысячи осколков:

*Mexico lindo y querido
si muero lejos de ti ...*³

«Золотые киты». Как там дальше? Он не помнил уже. Можно ли отыскать что-то подобное в Мексике? Спустя полвека?

Он пошел в «синий гроб», захватил свою кофейную чашку, отнес ее на кухню. Ненадолго замер у кухонного окна, бросил взгляд в сад. Поискал, будто отдавая долг этим мимолетным воспоминанием, в высокой золотистой траве то место, где согнувшись, часами, стояла баба Надя, ухаживая за своей огуречной грядкой... Но ничего не увидел. Баба Надя исчезла бесследно.

Из чуланчика он достал ящик с инструментами и пошел в кабинет Курта.

Сначала вынул старую шахматную доску, стоявшую слева, рядом с Лениным, раскрыл ее. Открыл папку с надписью «ЛИЧНОЕ». Выгреб бумаги столько, сколько могло поместиться в раскладную шахматную доску. Положил внутрь. Из кухни принес большой белый пластиковый пакет. Положил в него доску. Совершенно автоматически. Спокойно, уверенно, как будто давно это планировал.

Деньги, подумал он, я положу в пакет позже.

Потом выудил из ящика с инструментами широкое, часто уже использованное не по назначению долото, вбил его в щель двери нижнего шкафа, запертого на замок. Раздался треск, полетели щепки. Труднее, чем думалось. Ему пришлось вытаскивать все задвижные ящики из другой половины нижнего шкафа, пока перегородка не подалась настолько, что дверь отскочила – фотографии. Эротические карточки. Видео. Пара журналов такого же содержания... А вот и она, он не ошибся – длинная красная пластмассовая коробка с диапозитивами. Один-единственный раз он открыл коробку, подержал на свет первый попавшийся снимок, узнал свою мать, полуобнаженную, в недвусмысленной позе и – положил снимок обратно в коробку.

Принес из ванной корзину для грязного белья и сложил всё в нее.

Единственная печь, оставшаяся в квартире, была в большой комнате. Ее долгие годы не топили. Александр принес газетную бумагу, две большие деревянные подпорки, в виде сов, для книг со шведского стеллажа Курта и растительное масло из кухни. Промокнул в этом бумагу. Всё поджег...

Неожиданно в дверях появился Курт. Приветливый, выспавшийся. Тоненькие ножки торчали из подгузников. Волосы топорщились на голове во все стороны как ветви яблони в саду. С любопытством Курт подсеменял ближе.

– Сжигаю твои фотографии, – пояснил Александр.
– Да, – сказал Курт.
– Послушай, отец, я уеду. Понимаешь? Я уеду и не знаю, на сколько. Понимаешь?
– Да, – сказал Курт.
– Поэтому я всё это сжигаю. Чтобы никто не нашел.
Казалось, что Курт не считает это чем-то необычным. Он присел рядом с Александром на корточки, заглянул внутрь. Огонь разгорелся, и Александр начал по одной закидывать игральные карты. Затем фотографии, журналы... Видео, подумал он, выкину после в мусорный контейнер, но снимки нужно сжечь. Только вот, где же коробка?

Он взглянул вверх – Курт держал коробку в руках. Протянул ему ее.

– И? Что мне с ней делать? – спросил Александр.

– Да, – сказал Курт.

– Ты помнишь, что это? – спросил Александр.

Курт напряженно размышлял, тер виски, как раньше, когда подбирал слова. Как будто трение могло запустить электрическую энергию в его мозгу, последний импульс.

Тут он неожиданно произнес:

– Ирина.

Александр посмотрел на Курта, посмотрел ему в глаза. У него были голубые глаза. Светло-голубые. И молодые. Слишком молодые для такого состарившегося лица.

Он забрал коробку, вытряс все снимки. Бросал их, горстями, в огонь. Они горели бесшумно и быстро.

Он одел Курта, причесал его, побрил быстренько те места, где сиделка оставила щетину. После этого приготовил кофе (для Курта, в кофе-машине). Не спросил даже, хочет ли Курт кофе. Потом по плану была прогулка, Курт подбежал к двери, как собака, которая знает правила и требует своего.

Они пошли по маршруту Курта – *на почту*, как это раньше называлось, хотя путь на почту уже давно был лишь малой частью ежедневного маршрута Курта; но

тем не менее Курт всегда оповещал о своей прогулке словами «я пройду до почты», и когда уже ему давно нечего было относить *на почту*, он продолжал туда ходить, но если бы не эта педантичность Курта, у него не было бы двадцати семи тысяч марок в сейфе. Поскольку какое-то время Курт еще помнил свой код и был в состоянии снимать деньги через банкомат, и поскольку больше на почте ему нечего было делать, то он снимал деньги. Всегда тысячами. Однажды у него в бумажнике было восемь тысяч марок. Александр забрал эти деньги и положил в сейф. Поэтому он был единственным, кто знал о деньгах.

Они шли по Фуксбау, мимо соседских домов, чьих обитателей Александр когда-то знал лично – здесь жил Хорст Мэлих, который всю жизнь считал Вильгельма крупным советским шпионом и до конца поддерживал теорию о его убийстве; вон там был дом Бунке из Штази, который после объединения еще пару лет выращивал в огороде овощи и всё время приветливо здоровался через забор, прежде чем беззвучно исчез; там жил учитель физкультуры Шрётер; там жил врач из Западной Германии; а там, в самом конце, был дом дедушки и бабушки. Он уже был «возвращен прежним владельцам». Теперь в нем обитали внуки бывшего хозяина, нациста средней руки, который сколотил состояние на производстве стереотруб для вермахта. Наследники дом отремонтировали и покрасили заново. Великолепную террасу, которая обрушилась из-за того, что Вильгельм сделал неправильные расчеты при бетонировании, снова восстановили. И зимний сад с новыми, разнообразно украшенными окнами, показался таким чужим, что Александру с трудом верилось, что он и правда сидел там с бабушкой Шарлоттой, слушая ее мексиканские истории.

Потом они свернули на Штайнвег, Курт шел пыхтя, подавшись вперед, но не отставал. Здесь, на гладком асфальте они раньше катались на роликах и рисовали мелом. Вон там был мясник, у которого Ирина не гля-

1952

дя покупала пакетики, заранее заполненные в подсобке. Вон там «Народный книжный магазин», теперь бюро путешествий. А вон там «Консум», с ударением на первом слоге (и правда ничего общего с консультированием не имевший), где давным-давно – Александр только что вспомнил – по талонам продавали молоко.

А вот и почта.

– Почта, – сказал Александр.

– Да, – сказал Курт.

Больше они ничего не говорили.

Поднялись на холм к старой водонапорной башне. Отсюда открывался прекрасный вид на Хафель. Они сели на скамью и долго смотрели в наливающееся красным небо.

Под Новый год они провели несколько дней на побережье Тихого океана. На грузовичке, перевозившем кофейные зерна, их доставили из небольшого аэропорта в Пуэрто-Анхель. Кто-то из знакомых посоветовал это место: романтическая деревушка, живописная бухта со скалами и рыбацкими лодками. Бухта и вправду была живописной. Если не смотреть на бетонированную погрузочную платформу, где разгружали кофе. Деревня: двадцать-двадцать пять домиков, сонное почтовое отделение и киоск с алкоголем.

Единственное жилье, которое здесь можно было снять, это хоть и крошечная, но всё же отделанная кирпичом халупка, которую владелица с испанскими корнями называла «бунгало». В ней стояла металлическая кровать под москитной сеткой, именуемой владелицей «балдахин». По бокам – две тумбочки. На гвоздях, тут и сям вбитых в косяки, висели плечики для одежды. Перед «бунгало» была крытая терраса, на ней два расшатанных лежака и стол.

– Ах, как прекрасно! – воскликнула Шарлотта.

Она не обратила внимания на летучих мышей, висевших на выступе крыши над головой, прямо в центре комнаты – там, где, по местному обыкновению, между стеной и крышей зияла щель шириной в ладонь. Она не заметила пегую свинью, которая бродила по саду и подрывала землю вокруг каморки, которую владелица именвала ванной.

– Ах, как прекрасно! – воскликнула она. – Здесь-то мы и отдохнем.

Вильгельм кивнул и устало опустился на лежак.

Брючины задрались и слегка обнажили его сухие бледные икры. И без того тощий, он за последние недели похудел на пять килограмм. Его угловатое тело выглядело как лежак, на котором он сидел.

– Мы выберемся в окрестности, – пообещала Шарлотта.

Но выяснилось, что никаких окрестностей нет. Один раз они добрались на грузовичке до соседней Почутлы и забрели в китайский магазинчик с колониальными товарами. Вильгельм побродил по забитой товарами лавочке и остановился перед большой полированной ракушкой.

– Двадцать пять песо, – сказал китаец.

Дороговато.

– Ты же хотел такую, – напомнила Шарлотта.

Вильгельм пожал плечами.

– Покупаем, – решила Шарлотта.

И оплатила, не торгуясь.

В другой раз они пешком дошли до Масунте. Пляж был похожим, с той только разницей, что в Масунте он был покрыт темными пятнами. Вскоре они узнали и причину их происхождения: увидели, как рыбаки живьем выковыривали из панцирей гигантских черепах.

В Масунте они больше не ходили. И никогда больше не ели черепаший суп.

Наконец наступила новогодняя ночь. Деревенские мужчины целый день перекрикивались, разгружая кофе. Потом им выплатили зарплату. Около трех все были пьяны, а уже в шесть – в отключке. В деревне стало тихо. Ни малейшего движения, никого не видно. Как и каждый вечер, Шарлотта и Вильгельм разожгли огонь из дров, которые за пару песо им собирал *мосо*⁴.

Темнело рано, вечера были длинные.

Вильгельм курил.

Огонь потрескивал. Шарлотта делала вид, что рассматривает летучих мышей, которые, как кометы, мелькали в свете огня, беззвучно пролетая над ним.

В двенадцать они выпили шампанского из бокалов и каждый съел свои виноградины – по местному обычаю в

ночь нового года нужно съесть двенадцать виноградин. Двенадцать желаний, по одному на каждый месяц.

Вильгельм съел все разом.

Шарлотта первым делом загадала, чтобы Вернер был жив. За это она съела сразу три ягоды. Курт был жив, она недавно получила от него письмо. Он оказался где-то на Урале, причины в письме назвать не мог, уже женился там. И только от Вернера ничего. Несмотря на все старания Дрепки. Несмотря на запрос о розыске через Красный Крест. Несмотря на заявления, которые она подавала в советское консульство, первое – еще шесть лет назад:

– Сохраняйте спокойствие, гражданка. Всё идет своим чередом.

– Товарищ, я – член Коммунистической партии и единственное, о чем я прошу, это узнать, жив ли мой сын.

– То, что вы – член партии, не означает, что у вас есть какие-то привилегии.

Свиное рыло. Пусть тебя расстреляют. Она раздавила виноградины во рту.

А еще лучше Эверта и Радована – по одной ягодке за каждого.

Еще одна виноградинка ушла на то, чтобы перегадать наказание на тиф, излечимый тиф. Еще ягода, чтобы распространить эпидемию тифа на жену Эверта Ингу, ставшую недавно главным редактором.

Осталось всего три ягоды. Надо экономить.

Десятая: за здоровье всех друзей – а кто они?

Одиннадцатая: за всех пропавших без вести. Как и каждый год.

А двенадцатая... она раскусила ее просто так. Не загадав ничего. Как-то так получилось.

Да и бессмысленно, впрочем. Уже пять лет подряд она загадывала в наступающем году вернуться в Германию. Но это не помогало, они всё еще сидели здесь.

Они сидели здесь, в то время как там, в новом государстве, шло распределение должностей.

Спустя два дня они вернулись на самолете в Мехико. В среду было совещание редакции, как всегда. Вильгельм, хоть и исключенный из руководства группы, сохранил свои прежние функции в «Демократише Пост»: он вел счета, заведовал кассой, в авралы помогал распространять выпуск, сократившийся до пары сотен экземпляров.

Но и Шарлотта чувствовала себя обязанной принять участие в совещании. Оно проводилось всего раз в неделю и было непонятно, не окажется ли оно одновременно и партсобранием. Чем меньше становилась группа, тем больше всё смешивалось – партячейка, редакционный совет, управление.

Их осталось семеро. Трое из них были «руководством». То есть двое, с тех пор как отстранили Вильгельма.

Шарлотте было трудно высидеть совещание, она скрючилась на дальнем конце стола и едва могла смотреть Радовану в глаза. Инга Эверт несла чушь, она даже не знала, какой ширины бывает полоса набора, путала колонку и сигнатуру, но Шарлотта подавляла в себе любое желание вмешаться или выступить с предложением, а в статье, которую ей дали на корректуру, она намеренно пропустила опечатки, чтобы товарищи в Берлине увидели, до какого уровня опустился журнал, с тех пор как ее убрали с поста главного редактора.

Из-за «нарушения партийной дисциплины». Так что Шарлотта не видела иного пути, как самой отправить на имя Дрецки докладную записку. Ее «нарушение партийной дисциплины» главным образом состояло в том, что восьмого марта, в женский день, она дала заметку про новый закон ГДР о равноправии, несмотря на то что большинством ее предложение было отклонено как «неинтересное». Вот и весь скандал.

К тому же, она добавила, что в вопросе о мире Эверт занимает «пораженческую позицию», а Радован в особенно чувствительном для политической работы в Мексике еврейском вопросе (а «Демократише Пост»

по-прежнему читало много состоятельных евреев) идет против линии, которую заложил Дрецки, будучи в Мексике.

Она поступила нечестно и знала это. Но честно ли было упрекать ее в «нарушении партийной дисциплины»?

– Ты можешь до начала февраля написать что-нибудь для раздела культуры? – раздался голос Радована.

– На полторы стандартные страницы, региональную специфику.

Шарлотта кивнула и чиркнула что-то в свой календарь. Значит ли это, что для политического раздела она уже недостаточно благонадежна?

Вечером она принимала ванну, что стало практически привычкой в дни совещания редакции. В четверг и пятницу она давала уроки английского и французского, по три урока. Между прочим, зарабатывая за эти два дня больше, чем Вильгельм за неделю работы в «Демократише Пост».

Всё остальное время, до возвращения Вильгельма, она качалась в гамаке среди сада на крыше, куда служанка приносила ей орешки и манговый сок, листала книги о доколумбианской истории – для статьи в раздел культуры: предлог, который от нее никто и не требовал.

По выходным Вильгельм, как обычно, читал «Нойес Дойчланд», всегда приходившую из Германии большой связкой и с двухнедельным опозданием. Так как он не говорил ни по-испански, ни по-английски, «НД» была его единственным чтивом. Он читал каждую строчку и погружался в газету до позднего вечера, прерываясь лишь ради двух получасовых прогулок с собакой. Шарлотта занималась хозяйством: обсуждала с Глорией, служанкой, меню на неделю, просматривала счета и поливала цветы. Уже долгое время она выращивала на террасе «царицу ночи». Она купила ее много лет назад, с противоречивой надеждой, что никогда не увидит ее цветения.

В понедельник рано утром Вильгельм унесся в типографию, а Шарлотта позвонила Адриану и договорилась с ним о встрече ближе к обеду.

Адриан уже давно собирался показать ей гигантскую статую Коатликуэ. Он часто рассказывал ей об ацтекской богине Земли, она уже видела ее фотографию: чудовищное создание. Лицо ее состояло из двух змеиных голов в профиль, расположенных так, что от каждой змеи на нем было видно по одному глазу и по два зуба. Из лона выглядывала черепообразная голова ее сына Уицилопочтли. На шее висела цепь из отрубленных рук и вырванных сердец – символ ритуальных жертв древних ацтеков.

Ее нашли более ста пятидесяти лет назад при раскопках мостовой на площади Сокало, поведал Адриан, неспешно попивая кофе и разглядывая Шарлотту, как перед экзаменом. Она впервые была в университете. Всё, даже кофейные чашки в кабинете Адриана, казалось ей священным. А сам Адриан казался более импозантным, чем обычно, его лоб – более одухотворенным, его руки – более изящными.

– В 1790 году ее выкопали и доставили в университет, – сообщил Адриан. – Но тогдашний ректор решил снова закопать ее на Сокало. Трижды ее выкапывали и закапывали – так невыносим был ее облик. И даже после этого она десятилетиями стояла, занавешенная холстом, и ее показывали посетителям как своего рода судище. Шарлотта проследовала за Адрианом по лабиринту коридоров и лестниц, затем они оказались во внутреннем дворе, где Адриан мягко развернул Шарлотту, и перед ней предстали ноги Коатликуэ. Она ожидала увидеть статую высотой в человеческий рост. Ее взгляд осторожно блуждал по фигуре высотой в четыре метра. Она закрыла глаза, отвернулась.

– Ее красота заключается в том, – сказал Адриан, – что ужас запечатлен здесь в эстетической форме.

В январе она написала две машинописные страницы о диалектике понятия прекрасного в искусстве ацтекского народа. В феврале вся редакция, включая Вильгельма, отклонила ее статью как *чересчур теоретическую*. В марте совершенно неожиданно начался сезон дождей, и Адриан предложил ей выйти за него замуж. У нее ничего не было с Адрианом. Но у нее ничего не было и с Вильгельмом, которого секс перестал интересовать с момента отстранения от партийного руководства.

Они сидели на ступенях Солнечной пирамиды в Теотикуане, куда она – уже не впервые – приехала вместе с Адрианом. Шарлотта смотрела вверх мертвого города на широко раскинувшуюся холмистую местность, названную Мексиканской долиной, хотя на деле располагалась она на высоте в две тысячи метров, и ей вдруг поверилось, что она сможет *избавиться от всего этого дерьма*.

И вместо всего этого – увидеть однажды цветение «царицы ночи».

Но когда она вернулась вечером домой и увидела Вильгельма, сидящего на полу с собакой, то поняла, что это невозможно.

И к тому же – увидит ли она своих сыновей, если останется в Мексике? И к тому же – разве ей, и правда, хотелось остаток жизни обучать детей богатых родителей? Или командовать домашним персоналом овдовевшего профессора?

И это в сорок девять лет!

В апреле пришло письмо от Дрецки, забавным образом датированное первым апреля. Как следовало из шапки письма, Дрецки стал государственным секретарем министерства образования. Он ни словом не обмолвился о докладной записке Шарлотты. Более того, сообщил, что в советском консульстве для них готовы две въездные визы и попросил как можно скорее возвращаться, чтобы быть в его распоряжении для новых задач: Шарлотта должна стать *директором* Института литературы и ино-

странных языков в создаваемой Академии государственного ведения и юриспруденции, а Вильгельм, который, как писал Дрецки, из-за статуса так называемого западного эмигранта не мог быть, согласно его желанию, принят в новую службу государственной безопасности, должен стать *управляющим директором* Академии.

Тем вечером они шли по парку Аламеда, слившись с людской толпой. Издалека доносилось пение уличных музыкантов, они, как и раньше, ели тортильи с тыквенными цветами.

Но что-то изменилось.

Трое полицейских на лошадях продвигались через толпу неспешно, как в замедленной съемке. На них были большие тяжелые сомбреро, настолько большие и тяжелые, что приходилось не просто нести их на голове, а удерживать в равновесии, из-за этого вид у полицейских был одновременно торжественный и смешной. Представители государственной власти, двенадцать лет назад спасшей им жизнь... Дурацкая догадка: а что, если всё это – первоапрельская шутка? Ну не глупо ли было, что Дрецки хотел назначить Вильгельма управляющим директором Академии? Вильгельм не имеет никакого представления о руководящей работе. По большому счету Вильгельм ни о чем не имеет представления. Вильгельм был слесарем, и только. Хотя однажды он и вправду – по документам – был вторым директором в *Lüddecke & Co. Import Export*. Но, во-первых, из-за пожизненной обязанности хранить государственную тайну он не мог указать это даже в автобиографии, запрашиваемой партией. А во-вторых, *Lüddecke & Co. Import Export* была всего-навсего подставной фирмой, финансируемой русскими, и служила КОМИНТЕРНу для нелегальной переправки людей и оружия.

В Мексике Вильгельм целую вечность искал работу, и в конце концов нашел место телохранителя у торговца алмазами, хотя и хорошо оплачиваемое, но угнетавшее Вильгельма. Охрана жизни и собственности миллионе-

ра была против его пролетарской чести, и платили ему за глупость. Мендель Эдер принял его на работу как раз из-за того, что Вильгельм не говорил по-испански: торговцу было очень удобно, когда рядом с ним на переговорах сидел глухонемой.

Намного позже, уже когда почти все беженцы снова вернулись в Германию, Вильгельм начал работать в «Демократише Пост», но даже если он и указал в качестве последнего места работы «управляющий «Демократише Пост» (а работу у Эдера красиво обозначил как «фрахтовые перевозки в фирме «Эдер»», Дрецки же должен был понимать, что выставление счета о приеме пожертвований для «Демократише Пост» ни в малейшей степени несопоставимо с управлением целой академией.

– Некоторым образом я теперь твой начальник, – сказал Вильгельм и вытащил из пачки сигарету.

– Вряд ли, – сказала Шарлотта.

Что творилось у него в голове?

Уже много раз на горизонте маячило возвращение, но в конце что-то всё время происходило. Сначала не задалось с транзитной визой через США. Затем в кассе не осталось денег на проезд, так как другие товарищи были важнее. Потом в советском консульстве их уверяли, что на них нет документов. А в итоге им сказали, что поскольку они вторично не использовали разрешение на въезд, им теперь придется подождать.

Но в этот раз всё шло по-другому. Им и правда выдали в консульстве въездные визы. Они получили билеты на прямой рейс, даже со скидкой. Кроме того, билет Вильгельма (почему именно его?) был оплачен из партийной кассы, хотя у них за всё это время накопилось достаточно денег, чтобы оплатить дорогу самим. Шарлотта принялась улаживать хозяйственные вопросы, расторгла договора, с убытком перепродала «царицу ночи» в цветочный магазин. Дел оказалось на удивление много, и только сейчас она поняла, как сильно они здесь укорене-

нились: каждая книга, про которую она думала брать ее или не брать, каждая ракушка, каждая фигурка, которую аккуратно заворачивала в газету или решала выбросить – всё было связано с воспоминаниями об отрезке жизни, который теперь заканчивался. Но в то же время, когда она проводила инспекцию на пригодность той или иной вещи в новой жизни, в ней начала зарождаться картинка этой самой новой жизни.

Они купили пять больших кофров, часть своего небольшого состояния вложили в серебряные украшения, а на остаток закупили всякой всячины, которую, по их соображениям, было трудно раздобыть в послевоенной Германии – например, швейцарскую переносную печатную машинку (пусть и без буквы „ß“), два сервиза невероятно практичной посуды из твердой пластмассы, тостер, много хлопковых покрывал с индейскими орнаментами, пятьдесят банок также очень практичного *Nescafé*s, пятьсот сигарет, кроме того много одежды, по их мнению, подходящей как к климату, так и к их новому общественному статусу. Вместо легких воздушных вещей Шарлотта примеряла блузки с глухим воротником и строгие костюмы серых тонов. Она сделала перманентную завивку и купила простые, но элегантные очки, тонкая черная оправа которых придавала ее лицу убедительную строгость – когда она перед зеркалом примеряла выражение лица директора института.

Так, хоть и в старой одежде, но в новых очках и с новой прической, она еще раз – последний – встретила с Адрианом. Они, как и раньше, пошли в маленький ресторанчик в Такубайя, единственный недостаток которого заключался в том, что рядом было советское консульство. Адриан заказал два бокала белого вина и *chiles en nogada*¹⁵ и, не дождавшись еды, спросил Шарлотту, знает ли она, что Сланский приговорен к смертной казни.

– К чему это ты? – спросила она.

Вместо ответа Адриан добавил:

– И еще десять человек, из-за сионистского заговора.

Адриан положил на стол «Геральд Трибьюн».

– Прочти, – сказал он.

Но читать Шарлотта не захотела.

– Вот здесь как раз доказывается, – сказал Адриан, барабанив указательным пальцем по газете – что ничего не изменилось ни на каплю.

– Ты не мог бы говорить потише, – попросила Шарлотта.

– Ну вот, – сказал Адриан, – ты уже сейчас боишься. Что же будет по ту сторону океана?

Принесли заказ, но у Шарлотты пропал аппетит. Несколько минут оба сидели, не прикасаясь к своим фаршированным *chiles en nogada*. Затем Адриан сказал:

– Коммунизм, Шарлотта, похож на верования древних ацтеков. Он кровожаден.

Шарлотта схватила свою сумочку и выбежала на улицу.

Спустя пять дней они поднялись на борт корабля, который увозил их в Европу. В тот самый момент, когда отдавали швартовые и палуба под их ногам слегка, пожалуй, лишь на миллиметр, поддалась, у нее подкосились ноги, и ей пришлось приложить особое усилие, чтобы удержаться за поручни. Приступ, незамеченный Вильгельмом, прошел через минуту. Побережье растаяло в тумане, корабль отдался океану и, вычерчивая за кильватером прямой, как стрела, след, начал свое плавание. Поднялся свежий ветер, на палубе звенели натянутые ванты, и вскоре они были окружены бесконечной серостью, уходящей за горизонт со всех сторон. Дни стали длинными, ночи – еще длиннее. Шарлотте плохо спалось, ей снился один и тот же сон, в котором Адриан ведет ее по подземному музею, а когда она просыпалась, то заснуть снова уже не могла.

Часами лежала она в темноте, прислушивалась к качке корабля, ощущала, как его стать дрожит от борьбы с порывами ветра. «И еще десять человек», – сказал Адриан. Почему она не прочитала хотя бы имена. Вопросы. Что

Курт делает на Урале? Почему Красному Кресту спустя столько лет не удалось разыскать Вернера? Она была плохим товарищем. Ее разум, если честно, всё время нарушал партийную дисциплину. А теперь и тело чуть не нарушило ее.

Днем она пряталась от Вильгельма и пыталась навести порядок в мыслях. Кем бы она была сегодня, если б не партия? Художественная штопка и глажение белья – вот чему она научилась в школе домоводства. И по сей день она художественно штопала и утюжила бы белье для господина обер-штудиенрата Умницера, который изменял бы ей со своими ученицами, и по сей день ей бы пришлось мириться с надменностью свекрови и сердиться, что госпожа Пашке заняла ее бельевую веревку, если б в ее жизнь не вошла, вместе с Вильгельмом, коммунистическая партия. В компартии она впервые испытала уважение и признание. Только коммунисты, которых она поначалу принимала за каких-то бандитов – ребенком она всегда представляла их врывающимися в дома и сминающими заправленные постели, так как мать рассказывала ей, что коммунисты «против порядка» – только коммунисты распознали ее таланты, оплатили обучение иностранным языкам, доверили ей политические задачи; и в то время как Карл Густав, на учебу которого в художественной академии мать сэкономила самым варварским способом – Шарлотта и сейчас вспоминала с горечью, как ради экономии газа ее приставляли караулить чайник со свистком и как мать ударила ее по затылку разделочной доской, когда она не успела вовремя, то есть до свистка, повернуть кран – в то время, как Карл-Густав потерпел крах как художник и погряз на гомосексуальном дне Берлина, она, окончившая всего лишь четыре класса школы домоводства, возвращалась сейчас в Германию, чтобы возглавить Институт иностранных языков и литературы, и единственное, от чего ей было больно: мать не могла видеть этого триумфа, она не могла послать матери коротенькое письмо, подписан-

ное «Шарлотта Повиляйт. Директор института».

Но потом снова наступила ночь. Корпус корабля пробивался сквозь тьму, и стоило Шарлотте заснуть, как тут же появился Адриан и повел ее извилистыми подземными ходами, в конце которых ее поджидало что-то ужасное... Она проснулась от собственного крика.

Тем временем, казалось, Вильгельму день ото дня становилось всё лучше и лучше. Вот еще недавно, по ту сторону океана, он страдал от бессонницы и жаловался на плохой аппетит. Но чем меньше ела Шарлотта, тем больше, казалось, разыгрывался аппетит у Вильгельма. Он хорошо спал, долго, даже при самой отвратительной погоде, гулял по палубе и сердился, возвращаясь в своей насквозь промокшей, но хорошо держащей форму тартановой шляпе, что Шарлотта всё время торчит в каюте.

– У меня морская болезнь, – отвечала она.

– На пути в Мексику у тебя не было морской болезни, – возражал Вильгельм.

Он, который все двенадцать лет на каждой вечеринке стоял как забытая прогулочная трость, до последнего дня не мог прочитать ни одной вывески на испанском и звал на помощь Шарлотту, если с ним заговаривал полицейский, теперь оказался вдруг знатоком и любителем Мексики, развлекал компанию за капитанским столиком действительно удивительными случаями из жизни, и хотя – с гамбургских времен *Lüddecke Import Export* – он всегда говорил загадками и намеками, вскоре все были убеждены, что он проделал путь от одного океанского побережья до другого на лошади, что в Пуэрто-Анхель он с каноэ ловил акул и лично разыскал заросший джунглями храм майя в Паленке... – куда Шарлотта макала сухарики в ромашковый чай.

Ледяной ветер, которым их встретила новая Германия, казалось, не доставил Вильгельму ни малейшего беспокойства. С прямой спиной, рука на шляпе, он шагал по гавани так целенаправленно, будто прекрасно ее знал.

Шарлотта семенила позади, втянув голову в плечи. Потом они пришли в какой-то барак, где бледный мужчина проверял их документы, и пока Шарлотта размышляла, обращаться ли в новой Германии к таможеннику «гражданин» или «товарищ», Вильгельм уже всё уладил и даже такси заказал. Город мало чем отличался от гавани, и хотя Шарлотта на первый взгляд не усмотрела непосредственных разрушений, разрушенным выглядело всё: дома, небо, люди, прячущие свои лица в высоко поднятых воротниках. На одном из углов продавали суп из бочки.

Две фигурки пытались перетянуть через бордюры тележку, доверху набитую барахлом. Постепенно до Шарлотты стало доходить, что она ошиблась, купив для возвращения шляпку с черной вуалью. Вильгельм раскомандовался носильщиком. Шарлотта дала растерявшемуся мужчине два доллара чаевых.

– Ты перебарщиваешь, – сказал Вильгельм.

– Ты тоже, – ответила Шарлотта.

Грозно шипя, подъехал их состав. Запахло поездом – характерной смесью сажи и туалета. Шарлотта давно не ездила по железной дороге. Она смотрела в окно. Под монотонный перестук колес тянулись пейзажи. Влажно поблескивал лес. На пашне лежали грязные остатки первого снега. Из будки зрителя поднимался дым и, проезжая мимо, Шарлотта уловила движение зрителя, когда тот начал поднимать шлагбаум.

– Зритель, – произнес Вильгельм. Триумфально произнес, будто что-то этим доказав.

Шарлотта не отреагировала, продолжала смотреть в окно. Пыталась найти что-то утешительное. Пыталась радоваться церковной башне из красного кирпича. Пыталась при виде ландшафтов разбудить в себе чувство родины. Шоссе с растущими по его краям деревьями напоминало, что и в Германии было подобие лета. Ленивый встречный ветерок, мотоцикл Вильгельма

BMW-R-32 с коляской, в которой сидели мальчишки. Наивные. Смеющиеся.

Поезд остановился, дверь в купе открылась. Запах сажи от бурого угля и холодного дождя залетел в купе. Мужчина, не поздоровавшись, не сняв пальто – поношенное пальто темной кожи, сел. Обувь измазана глиной. Мужчина коротко изучил их боковым зрением, затем вытащил из портфеля контейнер для завтраков и достал из него уже надкусанный бутерброд. Жевал долго и тщательно, потом вернул на три четверти съеденный бутерброд в контейнер. Затем достал из портфеля «Нойес Дойчланд», раскрыл ее, и Шарлотте бросился в глаза заголовок со страницы, повернутой к ней:

«ПАРТИЯ ЗОВЕТ ТЕБЯ!».

Шарлотте стало стыдно. За вуаль. За свой страх. За пятьдесят банок *Nescafe* в чемодане... Да, партия нуждалась в ней. Эта страна нуждалась в ней. И она будет работать. Она будет помогать, строить эту страну – есть ли задание прекраснее?

Теперь мужчина держал «НД» так, что она смогла увидеть и нижнюю часть страницы: менее важные вещи, которые вдруг стали ее интересовать. Как замечательно понимать, что она, если захочет, уже сегодня вечером может пойти в кинотеатр «Штерн» в Берлине-Митте – там показывали «Дорогу надежды». Шарлотта была готова и это воспринять как добрый знак, и ее тронуло – с чего бы? – почти до слез, когда в рубрике «ОБЪЯВЛЕНИЯ» она прочла: «Заказы на большие рождественские елки подавать в потребительский кооператив «Грос-Берлин» письменно или по телефону не позднее 18 декабря».

Мужчина развернул газету целиком, так что Шарлотта смогла увидеть передовицу, и как-то сам собой взгляд упал на подпись к фотографии: «Государственный секретарь министерства образования товарищ...» А дальше она ожидала увидеть «Карл-Хайнц Дрепки».

Но не увидела.

<...>

Поезд, резко дергаясь, переваливался со стрелки на стрелку. Шарлотту болтало в коридоре из стороны в сторону, но ударов она почти не замечала. С трудом добралась до туалета, открыла – голыми руками – крышку унитаза, и ее вырвало тем немногим, что она съела на завтрак. Опустив крышку, села на нее. Стук колес отдавался ей прямо в зубы, прямо в голову. Она всё еще ощущала холодный изучающий взгляд, который встретил ее поверх газеты. Черное кожаное пальто – так нарочито. Всё было ясно, всё сходилось. «Заманили» – подходящее слово. Заманили с помощью сионистского агента Дрепки.

Поезд визжал и скрипел, как будто-то вот-вот развалится. Она крепко сжала голову ладонями... Или она сошла с ума? Нет, голова на месте. Мысли были ясными, как никогда. Если б там хотя бы написали «новый государственный секретарь»... Она хихикнула от странного удовольствия, что научилась различать такие тонкие нюансы. «Новый государственный секретарь» означало, что был «прежний». Но никакого «прежнего» не было. Его не существовало. И они были протее не существующего. Они сами практически не существовали. На вокзале Берлин-Остбанхоф будут стоять мужчины в черных кожаных пальто, и Шарлотта проследует за ними, покорно, без шума. Подпишет признания. Исчезнет. Куда? Она не знала. Где оказывались те, чьи имена больше не упоминались? Те, кто не просто не существуют, но и не существовали никогда?

Она встала, сняла шляпку. Сполоснула рот. Оглядела себя в зеркало. Идиотка. Достала из сумочки маникюрные ножницы и отрезала от шляпки вуаль. Хотя бы от этого себя избавить.

Мужчина стоял в коридоре и курил, она сжалась и проскользнула мимо него, не задев.

– Ты где была так долго? – поинтересовался Вильгельм.

Шарлотта не ответила. Села, стала смотреть в окно. Смотрела на поля, холмы, смотрела и не видела их. Удивлялась, что сейчас чувствует прежде всего злость. Удивлялась тому, о чем сейчас думает. Думала, что ей нужно думать о чем-то более важном. Но она думала о своей швейцарской печатной машинке без буквы «ß». Она думала о том, кто будет наслаждаться пятьюдесятью банками *Nescafe*. Она думала о «царице ночи», которую вернула (по мизерной цене!) в цветочную лавку. Она думала, в то время как за окнами мелькал пустой фильм, в то время как по полю полз трактор...

– Трактор, – произнес Вильгельм.

...в то время как поезд остановился на маленьком грязном вокзальчике...

– Нойштрелиц, – произнес Вильгельм.

...в то время как пейзаж становился ровнее и безутешнее, в то время как за окнами проносились ровные ряды сосен, прерываемые мостами, улицами и железнодорожными переходами, на которых никто никогда не стоял в ожидании, в то время как телеграфные провода бессмысленно перепрыгивали от столба к столбу, а по окну начали косо ползти капли дождя – она вспоминала о том, как почти год назад Вильгельм сидел на лежаке, вспоминала его сухие бледные икры, торчащие из брючин.

– Вот так да! Вуальку отрезала. – воскликнул Вильгельм.

– Да, – ответила Шарлотта. – Вуальку отрезала.

Вильгельм рассмеялся. Белки глаз сверкали на загорелом лице и угловатый череп блестел, как отполированная кожа для обуви.

Ораниенбург: указатель на улице. Вспомнились кафешки, где за пару пфеннигов можно было купить кофе и в тени каштанов поесть захваченные из дому бутерброды. Вспомнились пляжи, по-воскресному одетые люди, голоса торговцев с лотками и запах горячих жаренных сарделек. Сейчас, подъезжая к Ораниенбургу, ей на се-

1 октября 1989

кунду показалось, что это какой-то другой, неизвестный ей Ораниенбург – скопление бессмысленно рассеянных зданий, которые все до единого выглядели покинутыми, если они вообще когда-либо были жилыми.

Сломанный телеграфный столб. Военные машины. Русские.

Женщина с велосипедом стояла на железнодорожном переезде, в корзинке сидела собака. Неожиданно Шарлотта поняла, что терпеть не может собак.

И вот, Берлин. Разрушенный мост. Фасады со следами пуль. Разбомбленный дом выставил напоказ свою жизнь: спальня, кухня, ванная комната. Сломанное зеркало. Ей даже показалось, что она разглядела стаканчики для зубных щеток. Поезд проехал мимо этого здания – медленно, как на экскурсии. Шарлотте было даже как-то жаль жителей этой страны – столько усилий! Ничто не показалось ей знакомым. Не было ничего общего с тем Большим городом, откуда она уехала в конце тридцатых. Магазины с убогими, от руки написанными вывесками. Пустынные улицы. Почти нет машин, совсем немного прохожих. И вот снова очередь, перед каким-то зданием. Стоящие в ней бесчувственны, бесцветны. Несколько рабочих посреди этой безнадежности латают крошечный кусок улицы.

Затем рельсы начали расходиться.

– Остбанхоф. – сказал Вильгельм.

На непослушных ногах Шарлотта проковыляла по коридору. Тормоза завизжали. Вильгельм спустился, подхватил чемоданы. Спустилась Шарлотта. Небо над вокзалом – вот что она узнала первым. Голуби на железных балках. С другой стороны, с перрона городской электрички, объявление в растяжку:

– *Внимаание, поооезд прибывает!*

Шарлотта осторожно оглядела перрон.

– Что-то ты лицом совсем пожелтела! – сказал Вильгельм.

Дурдом начался около восьми утра.

Воскресенье.

Тишина.

Только приглушенное чирикание воробьев, если прислушаться, проникало сквозь полуоткрытое окно спальни, лишь подчеркивая эту тишину. Это была тишина отрезанного от мира места, уже четверть века дремлющего в тени пограничных сооружений, без сквозного проезда, без строительного шума, без современной садовой техники.

В эту тишину коварно ворвался телефонный трезвон.

Иногда Ирине казалось, что уже по тому, как звонит телефон, она могла распознать, что звонит Шарлотта. Она лежала в кровати на спине, подогнув ноги, слышала сквозь дверь в спальню, как Курт прошел из кухни, как скрипел под ним паркет, пока он своими шагами отмерял шесть метров комнаты. Как он наконец-то снял трубку и сказал:

– Да, мамочка.

Ирина закрыла глаза, скривилась. Постаралась подавить злость.

– Нет, мамочка, – произнес Курт. – Александра у нас нет.

Когда он разговаривал с Шарлоттой, то называл Сашу Александром, что резало слух Ирине – чтобы отец собственного сына называл Александром, русские так говорят, только когда общаются на «вы».

– Если вы договорились на одиннадцать, – сказал Курт, – то он наверняка в одиннадцать придет... Алло?.. Алло!